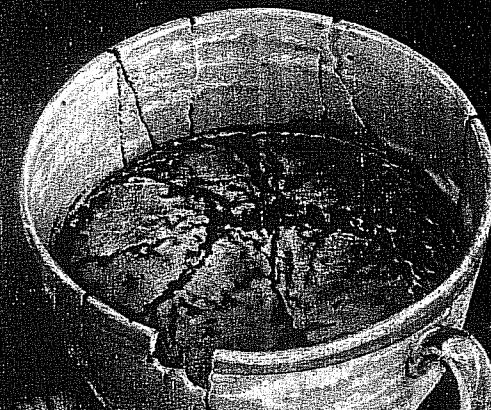


35 к.

Клавдия Билич
**АНДРЕЕВСКИЙ
СПУСК**



ББК 84Р7-5
Б 61

Лирика, вошедшая во вторую книгу молодой киевской поэтессы, искренна и волнующа, разнообразна по настроениям и интонациям. Большая часть стихотворений — это откровенный разговор о тревогах нашего времени, о древнем городе Киеве — матери городов русских.

Редактор Л. В. Голота

Художественное оформление М. В. Печеной

* * *

Сколько лет, сколько зим!
Эти зимы в фольге шоколадной,
в мандариновых корках,
прожигающих снежность дворов,
эти душные лета — нет, леты? (о чтоб им
неладно!) —
с литургиями пчел
и со всенощными комаров.
Сколько лет, сколько зим!
Как похожи они, непохожи,
как по коже прошлись
наездчиком солнцепеков и выног,
как мятали душу,
то в огрызок шагреневой кожи
оплавляя,
то — глиной пивыряя на круг...
Сколько лет, сколько зим
экстрасенсом какая-то птица
все внушает тебе:
— Ты любим! ты любим! ты любим!

...Этих зим табунок,
этих лет золотых колесница,
этих дней звездопад,
остановленный сердцем твоим.

Б 4702010202—057 18.90
М 228(04)—90

ISBN 5-7720-0370-4

© Клавдия Билыч, 1990

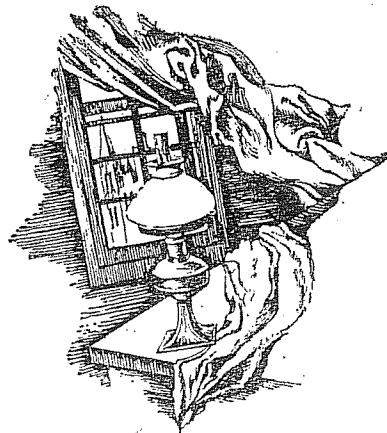


БИЛЫЧ Клавдия Михайловна родилась в Кмв. Окончила биологический факультет Кировского государственного университета. Работает по специальности в Институте молекулярной биологии и генетики АН УССР.

Печаталась в республиканской и всесоюзной периодике, в альманахе «Вітрила» (1979 г.) в коллективном сборнике «Я люблю тебя жизнь» («Радянський письменник», 1979). Лауреат поэтического конкурса газеты «Комсомольская правда».

Автор поэтического сборника «Новый день» («Молодь», 1982). Член республиканской литературной студии «Кобза» при журнале «Дніпро».

Клавдия Бильт АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК



СТИХИ

Волочивши мі — Ігорю,
Феде,
Жоржіє
и Франсу, — котрьих
і побачио
Киев
Іздательство
ЦК ЛКСМУ «Молодь»
1990

и оброчись — при всіх розстанах —
я! — с тим... Валентина Андріївна

На свету беспощадного дня

* * *

Сорваться! —
с уроков когда-то, а нынче — с режима.
Домчаться! —
в зеленом вагоне до синей реки.
Пространства глотнуть! —
и припомнить, что жизнь — неделима:
вот дети беззубо смеются, а вот — старики.
Какое прекрасное, горькое слово «сорваться»!
Вот листья срываются с теплых осенних берез.
Вот шумное птичье с гнездовий срывается братство.
Лишь нам все труднее — до этих, всамделишных, ^{слёз..}

* * *

— Мы не рабы своей судьбы!

— Откройте всё!

— Нам хватит силы!

...И открываются гробы
пред тихоахнувшей Россией.
И открываются пласти
такой вергилиевой ночи,
такой колымской мерзлоты,
что сердце бедное не хочет
уразуметь и — сгоряча —
то вдруг забывается в плаче страшном,
то — хватает, как «первача»,
всю желчь иронии вчерашней...

ЧИТАТЕЛЬ

А каждый читатель — как тайна...
A. Ахматова

Игорю Волошину

Это был не поэт, а читатель,
заурядный читатель стихов,
и к тому же картина созерцатель,
но иных не водилось грехов.
Не бузил, не богемил, не хныкал,
знал свой кульман, покушать любил,—
жил как все... Не пророк. Не ханыга.
Не сторонник ни слез, ни чернил.
В общем, был зауряден, пожалуй:
служба, дом, в перспективе — жена.
Но стихов потайная держава!
Но картин золотая страна!
Что-то там замышлялось меж строчек,
закипало в сплетеньях холста,
шел при просмотр за ним, чтоб не очень
жизнь его оказалась проста.
Невзначай искривляли дорогу,
страховали от страхов пустых
и горячие пятна Ван-Гога,
и пульсарный цветаевский стих.
Всю силой любви и таланта
путь его превращали в Судьбу
и седые старухи Рембрандта,
и ахматовский профиль в гробу.
Не искал наш Читатель надрыва,
он — читал, он глядел наугад,
он, наверное, был бы счастливым,

был как все... Но таков концентрат
этой страсти чужой, этой мысли,
и натурщица так молода,
что в читателе умер филистер,
и уже навсегда, навсегда!..

ПИСЬМО

Каждый вечер я вижу перед собою
Москву, когда радио передает бой
часов Спасской башни, визг трам-
ваев, уличный шум и окрики.

*Павел Флоренский в письме
к родным с Соловков, 1935 год*

Узорная Москва,
впечатанная в кровь,
ты — больше, чем любовь,
и мы нерасторжимы.
На Спасской бьют часы —
замри, не прекослови! —
На Спасской бьют часы,
и шелестят машины,
а окрики — и там
(какое-то «Гото-о-о-овсы!»)
и тут, на Соловках, —
везде страна режима.

Угрюмая Москва,
ты — больше, чем тоска,
впечатанная в жизнь
кремлевская брускатка...
На Спасской бьют часы —
равненье на века! —
но девичий смешок
неуловимо краткий,
но мерный скрип снежка
перехвачу украдкой —
нырну в твою волну
сквозь мрак материка.

Упрямая Москва,
тебе мои слова

РОДНАЯ РЕЧЬ

сейчас не ко двору,
ты и слезам не веришь...
А мне и не до слез —
такой кругом мороз,
так поддувает в жизнь
из той державной щели,
где каждый вечер бьют
великие часы,
где, как прожвосты, врут
фемидины весы,
где мозг окаменел
и не растет трава...

где ты шуршишь, шумишь,
безумная Москва!..

Шероховатый шорох,
Картавая картечь.
Люблю твои узоры,
Моя родная речь.
Люблю и швы, и стыки,
И гладь твою, и тиши,
Когда — тысячелика! —
Ты плачешь и шалишь.
Люблю, когда нетяжко,
Но с опущеньем лет
«Эх, житье моя-жистянка!» —
Печалится сосед.
Люблю поступков посвист,
Гордыни горький рот...
Люблю, что все непросто,
Незнамо наперед.
И рыцарство, и царство...
И пить бы без конца
Лени-и-и-иное лекарство
С лекала озерца.
И в облаков облатке
Глотать, врачуя боль,
Твой мед, тягуче-сладкий,
Твою святую соль!

* * *

* * *

Р. Заславскому

Живу непросто — шатко, валко
и, к сожалению, — всерьез.
О жизнь моя неунывайка,
невыливаюка горьких слез,
держись, не подводи, подружка!..

А там, где мы с тобою слабы,
мечты воздушная подушка
самортизирует ухабы.

Еще одна бездомная собака!
Еще один тест на человечность:
25% — отпихнут ногой,
50% — пройдут и не заметят,
24% — почешут за ухом и, если позволит время, —
утренний час «пик»! — угостят колбасой с
бутерброда.

1%, т. е. один человек из ста, круто сломает
свой маршрут и пригласит эту собаку домой,
где уже сидят пять таких же
бывших бездомных собак.

Один из ста.

Я знаю этого человека. Но, к сожалению, эта
собака
его не знает. И у меня нет возможности
их познакомить.

Почесав собаку за ухом, поделившись с ней
бутербродом, бегу дальше.

Я — из 24 благонадежных.
Но пока есть на свете этот 1% и тысячи бездомных
собак, моя осторожная благонадежность
не внушиает доверия.

* * *

Если в доме все реже звонки у дверей или в трубке, все пустынней становятся долгие зимние ночи, то однажды, согласно закону общенья всех тварей, на свете живущих, в этот дом забредает собака, а может быть, кошка. Черт возьми! Как они понимают, когда им пора появиться? Как они за версту, за квартал, за огромный пустеющий город одиночество чуют? отчаянье чуют? тоску и неверье? Подбирают на улицах нас и при этом за нами еще оставляют прекрасное право: всерьез обольщаться, что мы подобрали несчастных...

ДРУЗЬЯМ-СТИХОТВОРЦАМ

Стихов, ради бога, стихов, да свеженьких...
Пушкин в письме к Вяземскому

Нам за двадцать. И наши порывы не вполне одобряет родня. Но клянемся, покуда мы живы, не транжирить без строчки ни дня.

Это юность поджарая скакет, каблуками от счастья звеня, это — все мы поэты, а значит, не читайте стихи без меня!

Нам за тридцать. Мы что-то успели. Подрасширилась наша родня. Не вмещается в рамки недели ежестрочие каждого дня.

Это зрелость на кухне химичит и влетает, подносом звения:
— Ешьте! пейте! танцуйте! дымите!
Не читайте стихи без меня!!..

Нам — за сорок?.. Загадывать страшило, как там время пришпорит коня, как там совесть посмотрит бесстрастно на свету беспощадного дня.

Потому и глядим виновато, то судьбу, то работу клянья... Но святое по-прежнему свято! Я и в семьдесят крикну: — Ребята! Не читайте стихи без меня!

ОБЛОМОК РАДУГИ

Дождь поворачивал на запад,
был горизонт промыт и пуст,
когда открылся в нем внезапно
спектральной массы жаркий кус.
Он был сработан так рисково,
что признавал не сразу взгляд
обломок радуги, осколок,
небесной влаги конденсат.
Что там сломалось в небе старом,
как сочетались свет и дождь,
дабы возникла вместо арок
мазка ван-гоговского дрожь?
И гениально невзначайна,
как все великое проста,
висела в небе эта тайна
сияминутного холста.
...А птицы потрясенно пели,
и вдоль шоссе, где шла гроза,
машины фарами глазели
на молодые чудеса.

* * *

«А смерти нет!» — твердит вдова,
вернувшись в дом пустой и дикий.
Ей эти повторять слова
нужнее, чем забиться в крике.
Ей — тряпку в руки и ведро,
остервенело мыть и драить,
упрямо втаскивать добро
в распад судьбы над бывшим раем.
Но прежде мыла и воды,
она возвращается за кошельку ^{«Сколько же я тебе},
там — ^{если не в суд, то ушел ты...»}
там — свежее «Куда ушел ты?!»,
там — стопочка газет и книг
и полотенце из больницы,
где мужа проступает лик.
как тот, другой, на плещанице...

* * *

* * *

Как много дал мне тот единственный
мужчина,
с кем быть до смерти не хватило сил:
сказал «Люблю»
и познакомил с сыном,
и на могилу матери сводил.

28 ФЕВРАЛЯ

Сады стоят в серебряном огне.
Фольгой морозной выплены сучья.
Такая тишина! Но в глубине,
На споде дня, на самом-самом дне
Уже иные слышатся созвучья.
Зима кончается. Зима идет под снос.
Ее просторных комнат анфилада
То солнцем полнится, то серым дымом слез...
В гардинах пыльных чудится вопрос.
И лес стоит взволнованной громадой.
Повально астмой улицы больны.
Вокзал все ближе. Пригород и город
Сливаются. И в городе слышны
Удары пульса будущей весны.
И счастьем перехватывает горло.

На Южном берегу души
сегодня штиль, сегодня ясно,
и все прекрасно, так прекрасно
на Южном берегу души.
И шепчет море: «Ты дыши».
И шепчет небо: «Ты пиши».
И шепчет жизнь: «Не бойся жизни»,—
на Южном берегу души.

На Крайнем Севере души
сегодня шторм в двенадцать баллов,
и ногти в крови Тебе содрало
на Крайнем Севере души.
Но море требует: «Дыши!»
И небо требует: «Пиши!»
И жизнь орет: «Не бойся жизни!»,—
На Крайнем Севере души...

БАЛЛАДА О КРУГОСВЕТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Памяти украинских поэтов Генадия Литневского и Василя Моруги

В поле под Чепом машина стоит:
Кровь на руле, искореженность жизни...

Черное солнце взлетает в зенит.
Страшная новость наутро — в Отчине.
Вот прорвалась телефонной рекой,
Вот телеграфной строчкою стала.
Осиротила бесстрастной рукой
И обездружила... Громом упала
С ясного неба...
Летят и бегут:
— Господи боже!
— Да что это?
— Как же?!

В цинковых ящиках что-то везут,
Что-то, чего никому не покажут.
Ящики эти заносят в дома,
Встал караул над ними почетный.

И говорит молодая вдова:
— Дети, там — папа.
А сын ей:
— О чем ты? —
Что же, устами младенца?... О да!
Сын повторяет: — Ведь ты не выдала... —

...В поле весением восходит звезда.
Путников двое немного усталых
Полем идут. Впереди — горизонт,
А позади лишь нелепица мира.

Полем идут на отчаянный зов
Колоса, птицы, бессмертного мира.
Их кругосветка — надолго теперь.
Шутка ли? Всю в свои души приемля
бедную, полную ран и потерь,
все еще круглую, милую землю —
вышагать... Да памятуя: Колумб —
тот ведь вернулся... И мы — не глупее!

Во-о-он под звездою, на дальнем углу,
остановились и — слышали? — запели...

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

* * *

Сестре Леле

Кому всего печальней в тех домах,
где три — впритирку — поколенья разных?
Ну что там спорить? Старикам не праздник:
все «ох» да «ах»... И где былой размах?

А жизнь дитяти тоже ведь не мед:
вся ставка на него, на дорогую ветку...
О жажде вырасти, о жажде эту клетку
вломать и... потиранинть в свой черед!

И все же... участь среднего звена
цепочки этой, а точней — триады,
труднее двух других — не стоны, не тирады
и не бессонная бунтарская весна,

по Януса двуличного разлад,
двойная оптика от близкого соседства:
невозвратимое ауканье из детства
и старости неотвратимый взгляд.

А я о смерти не пишу стихов.
Не то чтобы невыигрышна тема.
Мне, может, тоже иногда охота
Умно изфилософствовать об этом,
И покоетничать, и так поговорить.
ЗатронутьFaуста, и Воланда, и Вечность,
С Хароном пошутить на переправе,
От струй летейских до горицков житейских
Все обсудить...
Ведь тема, безусловно,
Одна из главных и... бессмертных тем.

Но если в вашем доме есть старик,
И если вам он дорог больше жизни,
И если по утрам, еще во сне,
Его лицо искажено страданьем,
И вам приходится ловить его дыханье,
Порой неуловимое почти,
То я вам не советую — о смерти...
Затронуть тему — как сквозняк устроить,
Как чашечку весов рукой сдвинуть...

Пишите лучше что-нибудь в защиту
Великой окружающей среды.

* * *

НА КНИЖНОМ БАЗАРЕ

О юность сумбурная,
снова ты топчешь презренный уют:
Орфей с Эвридикой покоя тебе не дают.
Зато Филемон и Бавкида — «нелепые» люди:

— До пенсии вместе?
И даже до гроба?
— Не будем!..

Разлука над счастьем восходит,
как Марса зловещее око...
О максимы юности-дурочки:

пусть одиноко,
бездомно, безденежно,
только бы — не каждодневно!

А зрелость молчит.
Или курит устало и нервно.

И дефицит — он тоже многолик:
от импортных сапог — до Сименона.
А среди прочих рынков рынок книг —
дитя эпохи, пусть и вне закона.

Здесь тоже есть диктаторы свои,
свои Гобсеки. Время их примяло.
Ворочают без страсти, без любви
учетверенной суммой номинала.

Таким делягам главное — продать,
что братьев Гримм, что «Гигиену пола»...
Раскладки их, как грязная кровать,
где пестро все и нестерпимо голо.

А вот — макулатурные плоды,
пришедшие сюда через талоны:
и «женщин в белом» стройные ряды,
и «мушкетеров» славных батальоны.

Но, слава богу, кроме зверских цен,
здесь что-то есть, что рынку в корне чуждо!
Сместиив купюры, господин Обмен
стал отражать возвышенные нужды.

Отдать свое? Ты шепчешь: «Не отдам!»
Порой и с дублем расставанье тяжко...
И тело книги льнет к твоим рукам
из-под роскошной суперной рубашки.

У паренька такой печальный вид!
Ему не в радость книжная обновка:
хоть Бредбери сегодня знаменит,
^жпред Жюль Верном все ж таки неловко.

Вот он исчез, его любимый том,
уныл за кем-то невозвратной птицей —
с пометками, затертыми с трудом,
с пятном чернил на сто второй странице,

с героями, которым жить и жить,
и, умирая, возрождаться снова...
И столько оборотов совершил
еще успеет «царственное слово»!¹

Меняемся... Обменам нет конца,
как нет конца великой спле духа.
...Шуршат страницы.
И стучат сердца —
на весь базар —
взволнованно и глухо.

НА ТРЕТЬЮ ГОДОВЩИНУ
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

У каждой пары в мире есть двойник,
чья страсть равна и боль — равновелика:
июнь — двадцать второе — горький вскрик,
апрель, двадцать шестое, — эхо вскрика.
Ночь первая, ночь брачная, почлег
двух путников, из пунктов отдаленных
принедших в дом, — надолго ли? Ночь нег?
Ночь век припухших и очей бессонных!
Все длится, длится ночь под выходной,
они не снят, и нам, и нам не спится,
и разговор — безумный, проливной,
за всю-то жизнь — на всю! — наговориться!

...Ах, если бы, кабы!
А то еще — колы б знатти!
С воды не сдули пенку,
румянец нежипый не слинял со щек,
и слово «доза» — печто вроде сленга...
Но фронт беды, по гулкий фронт молвы
уже летят ударною волною,
и меченные атомы любви
связуют нас, как тех — перед войною...

¹ Из Анны Ахматовой.

В ЛИТСТУДИИ «КОБЗА»

В. Забаштанскому

В потертых джинсах, в длинных тогах,
улыбок добрых не тая,
приходят музы (слава богу,
давно у каждого — своя...)
И даровитым и бездарным
волненье равное несут,
но дважды в месяц, регулярно,
вернется суд! Верховный суд!
Входите все, здесь места много,
смелей садитесь в первый ряд.
Но ты, парнишка, у порога
спрячь свой просияющий, льстивый взгляд.
И ты, девчонка, под беретик
спрячь завитушечки стиха,
не этим здесь берут, не этим —
держись подальше от греха!
И вы, «новаторы», уймитесь:
здесь показуха не нова.
Учитесь, милые, учитеся
хотя бы чувствовать сперва.
Что наши вздохи, и обиды,
и суёта, и «ох», и «ах» —
перед молчанием Фемиды
с повязкой черной на очах?!

Сидит, ссутулясь, перед нами
и час, и два, и три часа,
на вкус — спаленными губами —
берет слова и словеса...
На слух берет
и боль, и муку,
и скрытый в строчке тайный жар.

И внемлет маленькому звуку
большое сердце, как радар.

И стыдно пред судьбой Фемиды
за сверхглобальность дутых тем,
за открыванье — с важным видом —
псевдоизначительных проблем.
И все, что нес в гордыне ложной, —
всего лишь дым над головой...

И только Правда здесь возможна,
на пульс помноженная твой.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЛИХТЕНШТЕЙНА

«Говорите!» — в трубку скажет.
Постучат, — вскричит: «Entrez!»
...Он настолько жив, что даже
похороны в октябре
словно не его, а чьи-то...
Он — сейчас! — придет на них,
взглядом обведет сердитым
перепутанных родных.
«Ну, не хокма ли, ей богу, —
кинет фразочку для нас, —
помереть от той хворобы,
в коей дока был и ас.
Впрочем, дайте сигарету!»

...Витя, Витя, что за боль,
сиротинами по свету
мы, дружившие с тобой,
ходим-бродим.
Живы? Живы...
В пароксизмах суеты
сердца вымотаны жилы...

Витя, разве умер ты?

ТРИ СТАРЫХ ЖЕНЩИНЫ

Признанье в трех частях,
где степень объективности различна,
где жизнь летит, сквозит, вненсторична,
и слезы оставляет на устах.

Никто не приуждал меня глядеть
на трех старух с рембрандтовских полотен,
чей скорбный дух прекрасен и бесплотен,
а плоть умерщвлена уже на треть.
Но если состраданием протореть
холсты седые в залах Эрмитажа,
но если их — иконами — воздеть
повыше, к свету, если их воспеть
и слиться с ними на мгновенье даже...
Почувствовать всю тяжесть их морщин,
всю темную опрятность их одежды,
взять на себя всю боль от их мужчин,
вогнать в себя все страхи и надежды
трех старых женщин...
Может быть, тогда
им легче выдохнется и вздохнется
и хоть одна внезапно улыбнется
и станет беспечально молода.

I

— Я пропала. Я тону.—
Ночью возле стен вокзала
эта женщина сказала.—
Две меняла на одну.
Разменяла!...
Думала, съедемся с сыном и невесткой,
буду нужна, в хозяйстве помогу...
В огромной квартире мне нету места!
Знаете, не пожелаю и врагу.
Вчера он мне сказал: «Что ты умеешь готовить,
как кроме борща?
Что ты вообще сумела в этой жизни после того, как
произвела меня на свет? ЧТО?»
А невестка — повежливей: «Неужели вы не понимаете, как ужасающе несовременны с этими бархатными бутоньерками, которые за бесценок берут в художественных салонах?»
...Сегодня гости у них — три пары.
Вечеринка с пивом, таранкой и стихами.
А я вот к подруге закадычной, старой...
Извините, разговорилась с вами.
Душу открыла — пар спустила,
Думала, задохнусь своюю тоской.
Зачем вы спрашиваете, как раньше было?
Сын мой с детства такой.
Это я меняюсь, теряю что-то.
В церковь ходила — бросила давно.
Ни веры, ни надежды — сплошная рана.
Позвоните как-нибудь, если будет охота.
А правда, позвоните, сходим в кино...
Меня зовут Любовь Ивановна.

II.

Я уж сказала, повторю опять,
что степень объективности различна.
Тепло... Теплее... Говорю о личном.
Еще больней — глядеть и узнавать.
Тепло... Теплее... Всё горячо!..
Я наклонюсь, подставлю ей плечо,
И скажет женщина, вставая с кресла:
— Ну, здравствуй, крестница!
Как же давно ты не приходила! А знаешь, что случилось, пока тебя не было? Умерла его первая жена.
И дети, его безжалостные взрослые дети, этот доцент — ну, ты помнишь, этот его толстый умный сын, и эта девица — его взбалмошная худая дочка... не спросишь у меня... ни слова мне не сказав... похоронили мать в одной ограде с ним...
Больше я туда — ни ногой.
Он теперь не мой, он — другой.
Он совсем чужой теперь, да, чужой.
Захлестнули память мне, как вожжой.
Ну, а плакать где, подскажи?
На могиле той столько лжи,
Столько грязи там намели...
Увели его, увели!!
Десять лет они выжидали,
Кислотой нам жизнь выжигали,
Не простили отцу, что любил меня,
Что со мною был до последнего дня...
Разлучили нас. Не смогла сберечь.
Ты одно скажи:
Где мне мертвой лечь?!

III.

А степень субъективности все выше,
А подключченность сердца все сильней.
...Я близоруко ничего не вижу,
Когда впервые говорю о Ней.
О женщине — годами очень старой,
Но духом бесподобно молодой,
Моей стожильной, худенькой, усталой,
Моей наивной, доброй и святой.
Как страшно знать, что все морчины эти
Я безотчетно столько лет ~~забала~~.
При свете совести — жестоком, ярком свете —
Я ей похвально «сероду не лгала».
А надо было лгать! скрывать! танться!
Чтоб не старело так ее лицо,
Когда у нас в дому менялись лица
Моих ромео, трусов и лжецов.
Я их прощала, а она молчала,
Я плакала, ей не хватало слез...
Я только краем духа ощущала
Седеющий мороз ее волос...
И если в третьей части нету прозы,
Той страшной прозы — лучше бы не знать!
Той черной прозы — медленной угрозы,—
То потому лишь нет, что это — Мать,
Что близко так,
Что лишь в догадках можно
Теряться мне о собственной вине,
Замаливать и верить осторожно,
Что в сердце матери нет горечи на дне.

Вчера, позавчера...

* * *

Лето в начале.
На синей веранде — лото.
В желтых бочонках игры то ли мед,
то ли вечность.
Три поколения рядом.
Не умер никто.
В воздухе тихо звенят комары и беспечность.

«Бабуинка! Дедушка!» —
хором вопит малышня
(стало быть, выпало 80 и 90).
Детям забава.
Но в сумерках этого дня
Двум старикам о как дышится
вольно и остро!
— Спать не пора ли? —
А дети орут впопыхах:
— Нет!
— Ну, пожалуйста!
— Вы же еще обещали!

В желтых бочонках лото
то ли мед, то ли прах...
Лето в начале.

* * *

В Крыму прощались весело и звонко
на скромной, не трагической заре.
Ты по щеке погладил, как ребенка:
— Увидимся зимою, в январе.

Январь? Ну что ж! Оттуда, с побережья,
пресматривался он едва-едва...
Но так легко снежок в сознанье брезжил,
так празднично кружилась голова!

Всего полгода ждать — какая малость!
Да если любишь, можно ведь и сто...

Уже потом и пелось, и страдалось,
а в ту минуту вспомнить я пыталась,
какого цвета зимнее пальто.

СЮЖЕТ

Позволила все. Ни о чем не спросила.
И в этом была непонятная сила.

Потом, у вагона, два слова сказала.
Вот так и запомнилась: странная птица,
Живущая где-то в районе вокзала,
Казалось, так просто туда возвратиться...

А дома, в столице, проснулся он рано
И с полки, стараясь ничто не нарушить,
Он Чехова выпул: фон Дидериц Анна
И Гурев его растревожили душу.
Сюжет был знаком. И запретен. И сладок.
Он знал эту сладость немой укоризны.
Казалось, так просто — сломать распорядок,
И — вот оно, вот оно — главное в жизни!

...Мечтатель в отставке, он выкурил «Приму»
И вывел собачку во дворик туманный,
И целые сутки твердил это имя —
Чудесное имя — фон Дидериц! Анна!!.

* * *

Ехать в поезде. Знать, что люблю.
Километры разлуки глотать.
Города, что проносятся мимо,
Невнимательным взором листать.

Молодое, пугливое счастье —
будто сумочку или чемодан —
всю-то ночь, проверяя все чаще,
сторожить от залетных цыган...

* * *

И лопнул мороз, как огромная белая чашка.
Взглянулось открыто, вздохнулось легко, а не
тяжко.

Поверились: будут весенние теплые почки.
Пригрезилось: синий простор и зеленые почки.

А в ЦУМе — развал новогодний, шары золотые.
И пахнет лимонами всюду.
И кружится Киев
В почти карнавальном, доселе неведомом танце.
И, словно малиновка, зреют на лицах румяницы.
И личное счастье
веселым прирученным зверем
идет за тобою, в открытые ломится двери,
становится общим, огромным и все-таки — личным!

И пахнет печальной провинцией воздух столичный...

ПИНГВИН ПО ИМЕНИ РУДОЛЬФ

В Клайпедском музее моря среди множества других пингвинов он — единственный представитель редкого вида.

Нет пары — ладно, не беда,
Ты холостяк, видать, навеки,
Зато отличная вода
И рыбку сыплют человека.

Нет пары — ладно, ты бобыль,
Но что ужасней — нет и друга...
Молчат пингвинова округа,

А лапы, клюв и форма крыл
У них такая же, но вот
Молчат и смотрят отчужденно...

Тебя окраска выдает,
Как бестолкового шинона.
Весь в темных пятнышках, ну что ж,
Они и есть отличье вида.
И ты, запятнанный, живешь,
Скрывая горечь и обиду.

Поколотила бы братва —
И те, ей-богу, было б лучше.
Но нет ни друга ни врага.

Приходит в полдень тетя Луша.
Они за рыбой лезут к ней —
Пожрать, попить, попричащаться.
А ты — ликую! — как к родне:
— Давай дружить!
Давай общаться!

Спешишь поведать о себе,
О жизни замкнутой и странной,
К другому классу, как к судьбе,
Минуя табели о рангах.

...Тебе сегодня повезло:
Кефаль с кристалликами соли.
Но может, подогнуть крыло —
как закусить губу от боли?

* * *

Мир пятого класса,
реальный, беспечный!
Какая там боль? и любовь? и разлука?

Весна — это первый салат огуречный,
стрела — не амура, зеленого лука.

Охапка сирени
из дальнего сада,
и сладкая дрожь
от набега такого,
и пачка пломбира,
а больше не надо
от жизни ни взгляда! ни жеста! ни слова!

Еще обожжешься о взгляд и о фразу.
Весну назовешь и внезапной, и вечной.

И, может, не вспомнишь,
не вспомнишь ни разу,
что это — пломбир и салат огуречный.

* * *

Диалог интерьера с пейзажем
Возникает почти невзначай.
Просто грунное чувство поклажи
Отпускает людей по ночам.
Городским — и балконов хватает,
Чтоб хлебнуть перед сном бытия,
Но в селе как-то сказочно тают
Переборки скучного жилья.
И покуда вы моете ноги
На веранде в тазу голубом,
Чебрецовое тело дороги
Забредает в сиреневый дом.
Что-то вроде ночных устава
По истаявшим стенам скользит.
Электричка — в усталых суставах
Чуть хрустя — у стола тормозит...
О транзит этой ночи сквозь душу:
Миг — и нет над тобой потолка!
Сквозь унылую лампочку-грушу,
Будто птицы, летят облака.
Все волшебно, а значит — возможно:
Безмятежность, и нежность, и страсть.
Подорожник, дороги заложник,
Прибегает, чтоб к ране припасть...

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

А па девятый день душа
(уже и без прописки вроде)
прощальным шагом, не спеша,
свои владения обходит.
Вот кухня. Здесь она царила,
то битье стирала и варила.

Теперь глядит ревнивым оком,
как бесполковая невестка
сама замешивает тесто,
пирог скигает пленароком,
и кот не кормлен, и уже
не пылесосят три недели...

Да что же это в самом деле?

...На тридевятом этаже
никак душа не отрешится
от быта, силится и тщится
забыть все то, зачем жила,
еще закрыты зеркала (как водится).
но вот в передней
столкнется вдруг с двадцатилетней
студенткой-внучкой,
та украдкой,
поглощена волос укладкой,
то занавесит, то откинет
простынику с зеркала...
И стынет жестокой молодости взгляда...

Девятый день. Нельзя назад!

* * *

Она вернулась из больницы,
где жизнь была на волоске,
и перед зеркалом
ресницы
подводит с кисточкой в руке.
Звенит звонок. Приносят розы.
Благоухают пироги...
И сладко видятся сквозь слезы
друзья и бывшие враги.

* * *

Человек с чемоданом, стоявший у этих дверей,
обобщеннейший образ, метафора жизни моей!
Для того и жила у вокзала, питаемая дымом
градирен,
чтобы ты, человек с чемоданом — нахален, наивен,—
возникал, и входил, и стоял, озираясь, в прихожей,
долгожданно-незданный, ни на кого не похожий!

И уже бы жужжала веселою пчелкой электробритва,
и яичница щелкала в кухне,
и, словно молитву,
повторяла бы я, ворковала, ворчала нелепо:
— Ты опять без звонка!
В доме нету ни корочки хлеба!..

АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК

(Фрагменты)

I

Куда я? Зачем и куда? Это время утрачено,
как сотня других. А пространство — и то и не то...
Ах, оба они и слезами, и болью потрачены,
как молью — пальто.
Везде — реставрация. Топчно от нового глянца.
Куда я? Зачем и куда? Все иное вокруг.
Лишь угол наклона — все тот же:
в причудливом танце
к Подолу спускается улица, делая круг.
И все же — куда я?
За Прутом — озябшую птицей?
Но я ведь жасминною веткой не стану играть...

Мне улица снится, и как она тихо струится,
но детство разбилось! распалось на даты и лица...

Куда я? Ведь эти сколки уже не собрать.

II. Топография

Это во мне — как бессрочная виза,
раинье словесной любой кутерьмы:
два ощущения — верха и низа,
два восприятия — света и тьмы.
Улица вся — осипраленным лифтом:
вверх — это в школу, вниз — на Подол.
Вверх — с замиранием, с полумолитвой,
вниз — бесшабашно, в санках, на спор!
Улица будто винтом закрутилась,

штопором вгрызлась в пространство горы
и — в результате — не вся осветилась:
солицем и тенью покрыты дворы.
Солнечный ветер гуляет по спуску,
с ветками клена играет в лапту...
Это во мне, как святое искусство,
как незаглохшее дивное русло,
это со мною — как сахар вприкуску
или ириска тает во рту?..

III. Цвета

Желтый киевский кирпич,
подворотни с синевой,
сад сиреневый в снегу,
что еще?
Желтых лютиков пожар,
мальвы в розовом стоят,
мальвы в белом и в бордо,
что еще?
Кошка черная как ночь
(имя — Сильва, ну и ну!),
дерматиновый диван,
может быть, еще черней,
и глазуны золотой
одинокий жаркий глаз,
что еще?
А еще — полутона.
Это пожже и склоней.
Жилка бьется на виске
у соседа-пацана,
цвета странного она —
цвета нежности моей...

IV. Чувства

И нежность, и ревность, и гордость — о, все это есть,
Но все в первобытном каком-то, бродильном настое...
Зубрилка, чистюля... Но слово горячее «честь»
В романах Дюма — непростое...
Зубрилка, трусишка, отличница с бантом тугим,
Но солнечный ветер — все шире и строже,
И вот появляется странная тяга к другим,
Кто бегать не может.

И страшное слово — не вымолвить! —
«по-ли-ме-лит»? —
(их несколько в доме — детей-старичков обреченных),
Как жалят пчела и крапива! Но жарче горит,
Ужалено жалостью, сердце девчонки.
А двор уже начал по каплям влиять свой отчаянный
яд,

И тайна зачатья горит в воспаленном рассудке:
— Не аист, не аист, а дядя, — тебе говорят.
Зубрилка, отличница, это — не шутка.
И стыд, и неверье, и странный какой-то озабоченность,
Но это уходит в подкорку, чтоб там притаиться,
А дружбы огромное солнце целует взахлеб:
Как сладко конфетой делиться! и тайной делиться!

И все перемешано разом в испустивший ерин,
И кажется, детское сердце не вынесет этого...
И лет через двадцать ты разом и горько поймешь,
Что в жизни не будет прекрасней сюжета.

V. Церковь — двор

«Айда на съемки!» — самый сладкий клич,
И двор опять срывается, как птица.
И церковь в кадре — будто королева.
И мы гордимся: эта церковь — наша,
Она навеки собственность двора!

— А что снимают?
— «За двома зайцами».
...Олег Борисов, молодой, веселый,
еще не ленинградский, не московский,
остриг и курит на ступеньках храма.
И золотом горят юпитера.

Снимают крестный ход.
Среди статистов —
Наш дворник,
Наш типшайтний дядя Вася,
Горбун и пьяница.
— Как он туда прорвался?
— Да ведь его еще вчера позвали,
у гастронома встретили с утра.
...И золотом горят юпитера.
И крестится толпа.
И дядя Вася,
Гордясь горбом,
Его проносит в кадре...
А жаркий день все тянется, все длится...
Мы успеваем сбегать пообедать,
Уроки сделать и опять туда же!
Нам кажется: без нас они не смогут
Ни снять путем и ни сыграть как надо.
Ведь эта церковь наша, только наша!
Она навеки собственность двора.
...И золотом горят юпитера.

VI. Церковь. Неназванность

Из купола струится белый свет.
Зима стоит — как церковь, синеглаза.
Смешенье чувств, смешенье лиц и лет.

В конце двора мелькает силуэт,
И жизнь приходит по второму разу,
И зажигает в окнах белый свет.
Об этой церкви знаю все теперь,
Не путаю пилasters и фронтоны.
(Но есть у словарей свои законы:
В неназванность захлопывают дверь!)
Люкарны обожаю и пилоны
И задыхаюсь воздухом потерь.
И рвусь туда, где радостно не знать,
Где в детских прописях еще полно помарок,
Где бело-голубая благодать —
Не памятник, не церковь, а подарок...
Ах, ничего о ней не нужно знать,
Лишь по-ребяччи к сердцу прижимать,
Как чай-то неожиданный подарок.

VII. Андреевский спуск, 13.

...А дом Булгакова был просто домом старым,
где жизнь текла по киевским уставам,
 занесена то снегом, то листвой,
 под древней Уздыхальницей-горою...
Нет, дом Булгакова был дом Фесеняко Димы!
Мой одноклассник, издали любимый,
Мое мучение, моя бельная тайна...
Фесеняко — Турбины... Как все случайно?
Соседство вымысла и двух реальных судеб...

Я здесь жила, не прозревая сути
Петлистой улечки, веселой и трагичной.
А в доме Димы по утрам привычно
Звучали гаммы, к вечеру — пассажи...

Здесь тоже жили, ссорились
И даже страдали от любви,
Боясь признаться...
Такой вот дом — Андреевский, 13.

VIII. Взгляд сверху

Видоизменения пространства.
Времени печальные утраты.
Перемена места.
Постоянство.
Данность мига.
И условность даты.
Это мальвы стынут на морозе?
Это санки в тополином пухе?
Это — Жизнь
в неуловимой позе
Девочки — Ровесницы — Старухи...
Не грусти, что все она проходит.
До тебя с другими было то же.
Только ветер солнечный по коже.
Только тонкий луч указкой водит
По твоей щеке, по окнам храма,
Снова по щеке — другого детства.

И летят Андреевский упрямо.
И глядишь — не можешь паглядеться.

Две бессонницы

* * *

Громыхают часы у виска.
Из депо выползают трамваи.
Предрассветная тяжесть глотка
Простоявшего с вечера чая.
До зимы — два квартала всего.
Но страшат не сугробы и льдины.
Нет, страшнее всего оттого,
Что достигла судьба середины.
Что часы у виска все сильней,
Прямо громом небесным средь ночи...

Что к рассвету теперь все поздней
Мой трамвай из почных одиночеств.

* * *

В непечатаемых стихотвореньях
воздух медлению загустевает,
и героев лирических лица стареют,
покрываются сеткой морщин
(на полотнах старинных красиво зовутся они —
кракелюры, и общеизвестно, что там, на картинах,
их ценность с годами крепчает, словно выдержка
вин)...

Здесь, в стихах непечатаемых,— иначе,
эта выдержка лет говорит лишь о выдержанке автора,
склонного глухо стареть, озлобляться, не верить
ни в бога ни в черта, спиваться помалу...

А пространство судьбы в этих книжках листов
рукописных
все сужается! душно дунье, никому не открытой,
актуальное прошлым становится,
прошлым становится крови волненье,
детство автора так бурьянном зарастает,
что сам он давненько в тот мир не заходит,
кракелюры на лицах любимых — любимых не красят...

Эти рукописи — горят,
но уже костерками такими даже рук не согреть...

СТИХИ О НОВОМ ЗНАКОМСТВЕ

Вот знакомый. С иголочки новый.
Электрон на орбите моей.
Остроумный, тревожно-рисковый.
И звонит, и стоит у дверей.
Интригует. И мне интересно.
Любопытно. Гляжу как детя.
Приглашает меня повсеместно.
Охмуряет меня не шутя.
Провожает до самого дома
И проводит восслед головой.
В роли новой-преновой знакомой
Дебютировать мне не впервые.
Боже мой, как просторно вначале!
Сколько света с обеих сторон!
Энтропии тоски и печали
Накопляться пока не резон.
У меня еще козырей много.
У него еще мыслей запас.
Ангелица моя-недотрога
С поднебесья взирает на нас.
Мы в кино и в концерты влекомы,
Мы у жизни торчим на виду...

Так не хочется старой знакомой
Становиться в текущем году!

ДВЕ БЕССОННИЦЫ

Бессонница, бесстыдница души
вальсирует в сорочке белоснежной.
Как весело в бессоннице кромешной!
И как ее приметы хороши:
талант, мечты, стипендии гроши —
как это все насыщено любовью,
как молода, воркует в изголовье
бессонница, проказница души.

Бессонница, привратница души,
старуха в лиловеющем халате,
когда ты так состарилаась, скажи?
Зачем пришла мучительно некстати?
Кому ты вяжешь долгий свой чулок,
где петли все изнаночными стали?
Ах, наизнанку жизнь, гони итог!
Итог, а не картонные медали!
И совесть наизнанку — дыры есть?
(Ведь не абстрактны чистота и честь).
И все невосполнимые грехи,
и все непоправимые стихи...

И всю вину пред девочкою нежной,
бессонницей в сорочке белоснежной.

ПЕРЕМЕНА

Женщина, ты одинокая птица!
В клетке двуспальной, в чертоге прекрасном
Что ж тебе, милая, снова не спится?
Что-то неясно? Как прежде, неясно?
Ты ли не мучилась почью на ветке?
Ты ли не плакалаась дуре-соседке?
Ты ли свободу свою и ничейность
Не проклинала за боль и плачевность?

Женщина, ты беспокойная птица.
В клетке двуспальной, в чертоге заветном
Тушью и гордостью плачут ресницы,
Крылья тоскуют о стуже и ветре.
Ты ли не строила жадно и круто
Это гнездо, воплощенье уюта,
Эту ячейку в пространстве горчачем,
Это подобье вселенского счастья?!

Женщина, ты невозможная птица!
Надо подняться и тихо умыться.
Чайник поставить. Дымком затянуться.
Надо вернуться. В реальность вернуться.
Будильник на столике заглушить.
Милая, надо попробовать жить.

ПАЛЕОПСИХОЛОГ

- Я развелась. Опять охота.
- Отвечу на письмо и фото.
- Привычек вредных не имею.
- А я — хозяйничать умею.
- Детей люблю.
- Детей не надо.
- Имею дом с приличным садом.
- Духовный мир всего превыше.
- Кто мне поверит, пусть напишет.
- Я твой, так не пройди же мимо!
- Хочу любить и быть любимой!

...Мужайся, палеопсихолог,
Сквозь вопли брачного листка
Твой поиск и далек, и долг,
А приведет — наверняка —
К тому, что есть и в вашем веке,—
К мечте о близком человеке,
Что было до царя Гороха:
Быть одному куда как плохо.
Сквозной отчаянный сюжет
На сотни лет, на сотни лет...

ОТКРОВЕНИЕ

Люблю поступков посвист...

Клевала на СЛОВО. Мужчина — кто СЛОВОМ
возьмет,
Наживкой из фразы (и не было сладостней
груза!).

Вторая сигнальная, боль ты моя и обуза,
Крыловской вороны наивно распахнутый рот...

А квант человечности был между тем и тогда
Вполне неделим. Назывался — ПОСТУПОК.
Не так был эффектен и требовал все же... труда.

Клевала на слово упрямо и тупо.

ЗАКОН ПАРНОСТИ СМЕРТЕЙ

Кавецкий и Бернар, онкологи двух стран...
С разрывом в пару дней. И оба — от инфаркта.
Страшней всего: француз был к нам на форум зван,
Успел отбыть в Париж, а дома — бита карта!..
Два зубра, два кита прощались, как всегда,
Планируя обмен, сообразуя сроки,
С разрывом в пару дней — разрывы двух сердец.
Два аса — в небесах, прервались биотоки!

На кладбище весной, на панихиде той,
Вздохнул один член-корр., почтенный и седой:
— Мне жутко,— он сказал,— от этих двух вестей.
Знаком ли вам закон о парности смертей?

Мы хмыкнули тогда, а через пару лет
еще одна беда — с ауканьем планет,
так вспыхнувших в ночи, что стало жарко всем:
Высоцкий — Джо Дассен!
Высоцкий — Джо Дассен...

Все струны оборвав, как за руки взялись —
в одну и ту же высь, в одну и ту же высь.
Погодки, шансонье, скворцы своих отчизн,—
от всех долгов, досье, державных укоризн...
в одну и ту же высь (кому жилось трудней?),
под сень одних кулис — с разрывом в двадцать
дней!..

Так здесь и впрямь закон?
Как знать... И нет и да.
Возможно... Иногда...
Сверхновая звезда.

Призвали боги — что ж! — к себе Орфеев двух.
Внизу колотит дрожь, вверху крепчает дух.

...И так же вот летят те двое, для кого
был «целый мир — театр», а больше ничего.
Действительно, друзья, воистину дуэт:
Папанов — в 60,
Миропов — в 40 лет.
И в зале гаснет свет.
Так здесь и впрямь закон?
Ведь подтвердился он!
Как знать... и да и нет.

Как резко гаснет свет!
Как больно гаснет свет!

За этой гранью — мрак, и хлад, и — ни черта!
Не может, хоть для них откроется черта?
И потечет в веках научный старый спор,
И страстный диалог, и просто разговор...

ЧУЖАЯ МЕСТНОСТЬ

Ровеснику

То пчела, то крапива ужалят,
то косой и насмешливый взгляд,—
новый возраст — как местность чужая,
ты явился сюда невпопад.
Ты нелеп, ты пришит, как заплата,
ты — с постыдной ленцою в душе —
понимаешь: уже поздновато
затевать перемены... Уже
этот поезд ушел — так бездумно,
так безвольно минуты текут...
Даже этот цветок по-латыни —
поздновато узнать, как зовут.

...Черта с два!
Это — Dahlia alba!
Так и дальше иди не спросяясь,
не прикидывай, сколько осталось,
но — люби эту местную грязь.
На паях с остальными, пожалуй,
ты освоишь еще сентябрь!

Новый возраст — как местность чужая,
Но ведь рядом — свои-то, свои!!.

* * *

Улыбка собаки — и пьяного рваный оскал.
Показывай, жизнь,
ты ведь любишь контрасты!
Я знаю, что приступы счастья не часты,
что в мыслях — сумятица,
в чувствах — разор и развал...
И все же — показывай,
жизнь, свой большой сериал!
Еще одурачишь не раз,
и сама обманусь,
влюблюсь — и отпряну,
объемся тоски и печали —
и жить расхочу! расхочу!
но, как в самом начале,
я снова и снова
отчаянно жить потянулся...
Показывай, жизнь,
ничего от меня не таи,
мне любы задворки твои,
кочегарки твои и подвалы,
и память твоя,
я забвенья немые провалы,
и — нет, не любовь,
но твое обещанье любви.

Врасплох и навсегда

* * *

Седыми глазами старухи в полночном трамвае
Вглядится в меня моя Старость — и мудро, и вечно,
Но я не потуплю свой взор. Я вполне успеваю.
Мне топать и топать еще и легко, и беспечно.

Глазами ровесницы в душном полдневном трамвае
Вглядится в меня моя Зрелость, как доброе солнце.
И в жар меня бросит. И все-таки я успеваю.
Еще успеваю в потоке других марафонцев.

А после... Веселой девчонкой, талантливой,
дерзкой,
Мне Юность трезвонить начнет по утрам
Изо всех автоматов.
И все они разом — и старость и зрелость,
и юность, и детство

Нахлынут, как волны...
И я — не успею.
Но буду ли я виновата?!

Сирень сильней, чем память!
До памяти в крови!
Нахлынет и ошпарит
предчувствием любви.
Пока в букете шаринь
(«Ну где же пятерик»?),
ты, как воздушный шарик,
то жалок, то велик.
На привязи приметы,
вне связей, вне примет
сирень такого цвета,
какого был рассвет
в году таком-то, старом,
в минуту ту, когда
любовь тебя застала
врасплох и навсегда!

* * *

Кусками, фрагментами, рвано
судьбу рассказала свою.
Взглянул отстраненно и странно:
зачем я ему говорю?
Зачем ему эта кручинка,
обломки тоски и отчая?
А пусть не кричит петушинно,
что любят и любят меня!
Вам чистеньких надо? Так нету!
Вам добреньких надо? — Увы!
Скиталась по белому свету,
не слушая черной молвы.
Любила. Просила. Бросала.
И брошенной тоже была.
На горьких полночных вокзалах
ущедшее время ждала.
...Вам надо букет флердоранжа?
Так это в соседнем окне.
А здесь воспаленная жажда,
здесь — сердце в крови и в огне.

* * *

Так о чем мы шептались на даче,
предрассветную дрему гоня?

— Научи меня верить в удачу!
— Научу. Ты полюбишь меня.

— Научи, научи меня счастью,
столько горечи разной в душе.
— Научу. Мы не станем прощаться.
Мы с тобой породнились уже.

— Ну а возраст? Ведь это так горько!
Я моложе не стану с тобой.
— Ты отныне девчонка и только,
нас обоих научит любовь...

— Ну а все-таки как же страданье?
Неужели нельзя без него?
— А вот здесь начинается тайна.
Я и сам не пойму ничего.

* * *

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Бывает год, когда, как бабочки на пламя,
все те, кого любил, слетаются к тебе.
Пусть ниче ничего не вспыхнет между вами,
ведь там своя судьба, а ты — в своей судьбе.
И дважды не дано в одну и ту же реку
не то чтобы войти, а палец погрузить...
И наводить мосты к чужому человеку
пустое ремесло... И надо дальше жить...

Но что-то нужно нам понять, точней унюхать,
схватить какой-то штрих на жизненном плато,
проверить второпях, отчаянно и глухо
наш долгосрочный вклад — неведомо во что.

Стоим пред ними мы без видимого пыла,
любезны, проничны, холодны.
Не разжимая губ, кричим:
— Ведь было? Было?! —
И то же самое кричат они.

Позабуду день и год,
думы и сомнения,
а четырехзначный код
в камере хранения
буду помнить!...
Повтори!
Громко сердце щелкает.
Что ж там спрятано внутри?
«Дипломат» — с кошелеко?
Стыд — с отвагой?
Боль — с бедой?
Огрубение — с нежностью?
Под пакетами с едой
случай — с неизбежностью?
Щелк-щелк — судьба к судьбе,
ах, несовпадения!
Что я знаю о тебе,
камера хранения?
Что я помню? Помню код.
Остальное вынули.
Високосный трудный год
сквознячком повымети.
Отказались от любви
две судьбы не новые,
и зажег вокзал свои
огоньки лиловые.

ВАРИАЦИИ НА НЕВЕСЕЛУЮ ТЕМУ

I

Диктует возраст жесткие законы.
Уйду. Не оглянусь, как Лотова жена.
Сквозь этот мрак вагонный, заоконный
Тебе моя несломленность видна?
Гляди, как ухожу, — легко, почти крылато,
не сгорбившись, без бабьей суеты.
И вижу, оглянувшись воровато,
что мне впослед не смотришь ты.

II

Аэропорт. Сейчас нас разлучат.
(А в воздухе печаль не так весома).
Мне кажется, что важно лишь начать
зубрить разлуку... Формула знакома!
Мне кажется... Еще рука в руке.
Их нужно разомкнуть.
(Ведь это просто!)

И — вырваться, как птица, налегке,
и стать умней, моложе, выше ростом,
короче — независимо стать!

Мне кажется, я постигаю что-то...
Мне кажется, что я... смогу... летать...

(Но это — из услуг Аэрофлота).

* * *

Прощаться так — нелепо, скоро,
Без нужных слов («Прощай!» «Прости!»)
Не затевая разговоров,
Прощаться — весело почти.
Ключи вращать на сгибе пальца,
В кулек запихивать еду...

О чем щебечут два скитальца
В своем слепом полубреду?
О чем они — сплетаясь руками —
Еще шутя, еще смеясь,
Когда на сердце — камень! камень!
И все смертельней эта связь?!

Когда уродливо, ужасно,
Всей кровью пережатых дней
Вокзал исходит страшно, страстно,
И чем случайней — тем страшней.
И в этой графике перронной,
В плацкартной вони, в синей мгле
Сокрыт и шепот исступленный,
И все святое на земле.

* * *

Ты снова о прошлом? Не надо, прошу.
Там все перепахано нынешней встречей.
Я в этом завале с трудом нахожу
То писем обрывки, то скомканность речи,
То взгляд (обесцвеченный взглядом твоим!),
То чье-то касанье (скользит не тревожа!)
...На плоскости домик лежит, недвижим,
А я в нем бывала и счастлива все же.

И что же? Все стало лишь пепел и дым.
Отчаянным почерком нынешней страсти
Ты всюду прописан, поскольку — любим,
А старые чашки разбиты на счастье...

Ты снова о прошлом? Мне страшно самой,
Что там ничего, ничего не осталось.
Ведь все-таки это случалось со мной?
И сердце — стучало? И время — смещалось?
И рана, какая-то рана была,
Сквозная, навылет (стихи же об этом!)\
Но может, не я в этом доме жила?
Но может, не я притворялась поэтом?
Бессвязно тоскуя, бесслезно греша,
Безгрешно не зная, что сбудется с нами?!\
...Но может быть, просто подранок-душа,
Как ящерки хвост, отрастает ночами?!

* * *

...Переосмыслить? Что за чушь!
Принять во благо? Что за сказки!
Забыть. Забыть. Задуть свечу.
Плеснуть слезою для остраски
Туда, где может снова тлеть.

...Неубиваемо, нетленно,
В пустую реберную клеть
Влетает прошлое мгновенно.

ОСЕННЯЯ ГРОЗА

* * *

«Клин — клином» — предлагают.
Я не прочь.
Душа противно это.
Ей — виднее.
Мы разные.
Я не смогу помочь
Моей душе.
Мы не похожи с нею.
Еще вокруг твердят, что время — врач...
И год, и два, и три,
А боль все та же.
Моя душа не выучена вратъ,
Ей этот врач не интересен даже.
Я привыкаю,
А душа орет,
Что это не пройдет и после смерти.
И время, лучший врач,
Пристыжению бредет,
Стихи, как взятку, унося в конверте.

Раздвинув стены молодой любви,
 первической и чуть категоричной,
 гроза диктует правила свои,
 она не хочет говорить о личном.

Ей тесно в комнате, она бежит в леса,
 и за селом Салтановка, в овраге,
 ее безумные лиловые глаза
 так вспыхивают, полные отваги,
 что мы выходим на слепой огонь,
 устав от выясненья отношений.

И небо сентября поставил на ладонь,
 осенняя гроза выходит на снижение.

Потом, в косноязычин своем,
 с подсветками зарниц, с дождем на верхней
 ноте,
 вступает в силу гром, озвучивает дом...
 И сад уже поет, и яблоки в полете.

И если это речь, то в ней — вся жизнь твоя,
 с единством чувства, времени и места.
 А если это грохот бытия,
 то он понятней слов и ярче жестов!..

* * *

РАЗРЫВ

I

Ветер листает пустые тетради,
Все, что не сказано, скажется скоро.
В солнце морозном, как в жарком окладе,
Звон колокольный завис над собором.
Колокол-батька из бархатной чаши
Силится вычерпать зимнее свято,
Следом, вдогонку, все чаще и чаще
Перекликаются колоколята.
Рядом — родилка, где жизнь в изголовье
Будто свеча в синеватом сугробе.
Врач наклонился и трубочкой ловит
Сердцебиение младенца в утробе.

Ах, рождество! Торжество! Вдохновенье!
Воздух дрожит в ожидании чуда.
И в исхудалую синюю вену
Солнечный лучик течет ниоткуда.
...Выжить!
А все остальное — детали.
Плотью продлиться, не только словами.

Жизнь и строка паконец-то совпали.
Плачет младенец в заснеженном храме.

И кухня, и ванна для нас — полигоны,
мы ссорились всюду, где только могли.
Что ж, судьбы транзитны,
сердца — полигамны,
и вот что наделали песни твои!
Любовь — это храм,
мы теперь — иноверцы...
И как в нелюбви оставаться людьми?
...Прижми меня к сердцу
всей памятью сердца,
чтоб косточки хрустнули,
ельшинь, прижми!..

II

— Вот так ты думаешь? Ну что ж...
Спасибо, что предельно краток.

Мысль изреченная есть нож,
который входит меж лопаток.

Не оглянусь, пойду сперва,
потом — взлечу...
Из раны странной заплещут крылья,
а слова уйдут корнями в день вчерашний.
Заголосит моя родня,
но я успею улыбнуться:
— Спасибо, что убил меня,
освободил
и дал рвануться!..

III

Пусть память хватается цепко,
мне больше она не страшна.
Мое одиночество цельно,
поскольку оно — целина.
Разорваны страсти на части,
я птица, я снова ничья...

Отчаянный колышек счастья
забью в чернозем бытия!

ВЕСНОЙ НА СТАРОЙ ДАЧЕ

Вот чинарик его сигареты.
Вот его задубевшие кеды
с перепревшими стельками
сорок второго размера.
Выбросить не посмела.
А ведь не свидимся больше
уже никогда,
никогда!

...Прошлогоднего снега
нетленна в жестянке консервной вода.

* * *

Той самой неподстеленной соломки
лежит охапка. Э-эх, колы б знатя!
Но все не впрок! Лежат судьбы обломки,
лежат слова, бутылочно блестя.
А черепки-то — не моя стихия,
а реставрация — не мой подряд...
Чего ж я жду? Что атомы лихие
вдруг сами сложатся? И душу повторят?
Что я превозмогу Помпею эту
не растеряв ни капли естества?

...Как радуется, вопреки сюжету,
зеленая и глупая трава!

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

...А что не повыметет выгоюю лютой?
Что ляжет в подкорку отчаянней строк?
Не злая коррида больных самолюбий,
Но только веселый воздушный широг.
Да, я — за идеаллию! Что здесь плохого?
Еще возведем бастионы тоски.
Но нынче — нахлынуло — честное слово! —
Как мы возвратились с морозца хмельного
И яблоки чистим в четыре руки.
...Загублено все. Обесцвечены лица.
Гордыня услужливо копит итог.
А в сумке сердечной — иная скарбница:
Там пахнет ванилью, там пахнет корицей,
Там прямо под сердцем сынишка томится,
И в печке томится воздушный пирог.

ЛЮБОВЬ

Вот в том-то и дело, что нужно и много и мало...
Какую-то долю минуты в смятенье вокзала,
Чтоб только в глаза заглянуть, и успеть отразиться,
И голоса, милого голоса, слухом напиться...
И вечность нужна. Непременно. Чтоб все

подытожить.

Чтоб деток поднять. И чтоб деревце вырастить тоже.
Чтоб ждать — как впервые, с неутоляемой жаждой.
И так разглядеть — до морщинки! до родинки

каждой!..

НИТЬ АРИАДНЫ

То, что забудет один, то другой сбережет:
света охапки сквозь ставни в их первое утро,
взгляд исподлобья, неловкий руки поворот,
вкус пирога пригоревшего (вдруг почему-то?),
ссадины ссоры, смешной пересоленный суп,
непониманье словами — и выход наощупь
в некую вроде бы гавань, где вроде бы суть
схвачена, снова размоловка, воробышек тощий,
так улыбнувшийся им на тропинке в саду,
что помирились... и хруст разрываемых писем...

То, что забудет один, то другой, как в бреду,
все прборматывать станет, жестоко зависим
от лабиринтов подкорки...

...бессмертную нить,
всю в узелках, помертвевшую нить Ариадны
все-таки этот, другой, сохранит, сохранит!
Вытянет к свету душой беспощадной!..

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

На старом слайде,
что ничуть не выцвел,
я вдруг застыну
с чашкой на весу.
И выстрою цепочку из событий,
и логику зачем-то привнесу
в тот бред,
который — жизнь, и боль, и свет...
На старом слайде
через двадцать лет
я вдруг отбросу волосы со лба,
и там другая сложится судьба.

«Сколько лет, сколько зим!..» 3

На свету беспощадного дня

«Сорваться!..»	4
Читатель	5
«— Мы не рабы своей судьбы...»	6
Письмо	7
Родная речь	9
«Живу непросто — шатко, валко...»	10
«Еще одна бездомная собака!..»	11
«Если в доме все реже звонки...»	12
Друзьям-стихотворцам	13
Обломок радуги	14
«А смерти нет!» — твердит вдова...»	15
«Как много дал мне...»	16
28 февраля	16
«На Южном берегу души...»	17
Баллада о кругосветном путешествии	18
Три поколения	20
«А я о смерти не пишу стихов...»	21
«О юность сумбурная...»	22
На книжном базаре	25
На третью годовщину 26 апреля 1986 года	25
В литстудии «Кобза»	26
Памяти Виктора Лихтенштейна	28
Три старых женщины	29

Вчера, позавчера...

«Лето в начале...»	33
«В Крыму прощались — весело и звонко...»	34
Сюжет	35
«Ехать в поезде. Знать, что любима...»	36

«И лопнул мороз...»	37
Пингвин по имени Рудольф	38
«Мир пятого класса...»	40
«Диалог интерьера с пейзажем...»	41
Девятый день	42
«Она вернулась из больницы...»	43
«Человек с чемоданом...»	44
Андреевский спуск (Фрагменты)	45
I. «Куда я? Зачем и куда?..»	45
II. Топография	45
III. Цвета	46
IV. Чувства	47
V. Церковь — двор	47
VI. Церковь. Неназванность	48
VII. Андреевский спуск, 13	49
VIII. Взгляд сверху	50

Две бессонницы

«Громыхают часы у виска...»	51
«Того, кого ты ищешь, в мире нет...»	52
«Риткой зовется среди подруг...»	53
«В непечатаемых стихотвореньях...»	54
Стихи о новом знакомстве	55
Две бессонницы	56
Перемена	57
Палеопсихолог	58
Откровение	59
Закон парности смертей	60
Чужая местность	62
«Улыбка собаки — и пьяного рваный оскал...»	63

Врасплох и навсегда

«Седыми глазами старухи в полночном трамвае...»	64
«Сирень сильней, чем память!..»	65

«Кусками, фрагментами, рвано...»	66
«Так о чём мы шептались на даче...»	67
«Бывает год, когда...»	68
Камера хранения	69
Вариации на невеселую тему	70
«Прощаться так — нелепо, скоро...»	71
«Ты снова о прошлом? Не надо, прошу...»	72
«Переосмысли? Что за чушь!..»	73
«Клин — клином»,— предлагаю...»	74
Осенняя гроза	75
«Ветер листает пустые тетради...»	76
Разрыв	77
Весной на старой даче	79
«Той самой неподстеленной соломки...»	80
Яблочный пирог	81
Любовь	82
Нить Ариадны	83
«На старом слайде...»	84

Бильтч К. М.

Б 61 Андреевский спуск: Стихи.— К.: Молодь, 1990.— 88 с.

ISBN 5-7720-0370-4

Лирника, вошедшая во вторую книгу молодой киевской поэтессы, искренна и волнующа, разнообразна по настроениям и интонациям. Большая часть стихотворений — это откровенный разговор о тревогах нашего времени, о древнем городе Киеве — матери городах русских.

4702010202—057
Б М 228(04)—90 18.90

ББК 84Р7-5

Литературно-художественное издание
БИЛЬЧ Клавдия Михайловна

АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК

Стихи

Киев, издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь»

Художественный редактор К. О. РЯЗАНОВ

Технический редактор М. Л. МЕЛЬКО

Корректоры Е. П. ПАСЕЧНАЯ, О. О. ШЕЛУДЬКО

ИБ № 4440

Сдано в набор 28.11.89. Подписано к печати 21.02.90.
БФ 39051. Формат 70×90 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкн. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,22.
Усл. краскоотт. 3,58. Уч.-изд. л. 2,5. Тираж 4500 экз.
Зак. 9—595. Цена 35 к.

Ордена «Знак Почета» издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь». Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь»
ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и полиграфкомбината: 252119,
Киев-119, ул. Пархоменко, 38—44.